

## Глава первая

У моего отца Рене Дюбардо был, кроме меня, еще один ребенок — Европа. Некогда она приходилась мне старшей сестрой, а с началом войны перешла в разряд младших. Вместо того, чтобы говорить со мной о ней как о взрослой особе, набравшейся жизненного опыта и худо-бедно, но «пристроенной», он произносил ее имя с большой нежностью и большим беспокойством, словно ее только еще предстояло выдавать замуж, и потому именно мои отзывы — отзывы молодого человека — казались ему небесполезными. Отец был единственным — за исключением Вильсона — полномочным представителем Версаля, который воссоздал Европу, вложив в эту задачу всю свою душевную щедрость, и единственным — уже без всяких исключений, — кто отнесся к своему делу вполне компетентно. Он свято веровал в силу договоров, в их непогрешимость, в их могущество. Будучи племянником того, кто ввел в химию синтез, он почитал возможным, особенно в таком пекле, создавать новые государства. Вестфалия уступила Швейцарию, Вена Бельгию — государства, которые были обязаны именно своему искусственному рож-

дению естественным духом нейтралитета и мира. Версалю также вменялось в обязанность способствовать рождению наций, которыми была теперь беременна Европа и которые развивались без особой пользы в самом ее центре. Мой отец помог Вильсону решить эту проблему, — более того, он придал центральной Европе новый импульс. Вместо того чтобы уютно свернуться клубочком в собственных пределах, молодые нации потянулись кто на север, кто на юг, запад или восток — словом, все они готовились к экспансии. В студенческой юности мой отец подрабатывал себе на жизнь составлением справочных статей об исчезнувших или покоренных народах для «Большой Энциклопедии». И теперь, на Конгрессе, он незаметно для всех, забавы ради, исправлял вековые несправедливости, возвращая, например, одной чешской деревушке земли, отнятые сеньором в 1300 году, другим селениям — право на рыбную ловлю в такой-то реке, коего их лишали в течение долгих столетий; в результате его именем — тем самым именем Дюбардо, что мой двоюродный дед присваивал химическим составам, электрическим токам и аксиомам, — новоиспеченные государства, занимавшие свои новые территории, называли озера и водопады. Больницы, школы, вокзалы, словом, все важнейшие институты какой-нибудь нации, кроме окрещенных иначе по сугубо эгоистическим мотивам, звались теперь, как я. Страна, для которой мой отец добился выхода к Адриатике, продвинула свою армию к самому морю с кличем «Дюбардо!» — вместо того, чтобы возгласить: «Thalassa!» Если бы я, достигнув старости, захотел жить, подобно вдовам великих людей, на какой-нибудь улице или в уголке

земли, носящих мое имя, мне всего только пришлось бы выбирать между горными пиками и полуостровами, между теми плато нашего мира, откуда взирают вниз, где черпают надежду. Когда мой отец путешествовал по Чехословакии или Польше, крестьяне сбегались к нему толпами, умоляя положить конец тяжбам, насчитывающим два десятка лет. И он рассекал эти гордые узлы, удовлетворяя обе стороны и не рассекая при этом детей.

Отец встретил приход войны, не питая на ее счет никаких иллюзий. Опять-таки именно ему мы обязаны статьями в «Большой Энциклопедии» о бедствиях, поразивших человечество, о роковых датах, о тысячном годе, чуме, гуннах. Он знал, что катастрофа неизбежна. 2 августа 1914 года, когда сам я еще надеялся, что каким-нибудь невероятным чудом ни один француз — за исключением капрала Пежо — не сможет пасть на этой войне, отец понял, что в ней погибнут миллионы. Кстати, все это он и высказал мне на следующий день, когда я отправлялся в свой полк. Свободный от всеобщего неведения и доверчивости, он считал себя не вправе снисходить до лжи. Таким образом, я оказался единственным солдатом, который шел на войну, ясно сознавая, насколько она опасна: отец достаточно уважал меня, чтобы держать в курсе каждой новой ее опасности. Так, например, бестолково расстреливая по приказу командира свои пули, я знал, что нам катастрофически не хватает боеприпасов. И когда ложная тревога сотрясала передовую, я невольно предвидел те опустошения, которые она через минуту произведет в составе нашей роты, нынче же вечером — в ходе боя, завтра — в арсеналах. И когда целая армия с наступлением

ночи беззаботно снимала фуражки и обнажала лица, я знал, что близится час ядовитых газов. И всякий раз, как нас бросали в «самую последнюю» атаку, я знал, что мы заказали в Австралии сукна для мундиров на четыре года вперед. Я знал, что японцы не вступят в войну, что кронпринц не занимается грабежом, что президент общества инвалидов войны получил свою рану от шального выстрела приятеля, охотясь на кабана среди траншей; я был обособленным атомом этой войны, не имевшим никаких причин надеяться на спасение, кроме самой надежды, которая для моего отца являлась таким же органом чувств, как зрение или слух, которая досталась мне от него в наследство и которую я подпитывал этими гомерическими бедствиями. Разумеется, трудно слышать у себя за спиной грохот семидесятипяти-миллиметровой пушки, мешающей вам спать всю ночь и вызывающей ответный огонь, когда знаешь, что снарядов во Франции осталось всего на два дня. Однако, получая увольнительную, я обретал новую уверенность в успехе при одном лишь виде того, кто посвящал меня во все опасности войны. Он приезжал в ресторан возле моего вокзала, где мы обычно встречались, довольный, чуть ли не раньше назначенного часа. Это были, по его словам, единственные дни, когда он «давал себе передышку» и проводил со мной весь вечер, перепоручая свои дела и переговоры с союзниками одному старому генералу по имени Бримоду, которому доверял безраздельно, ибо Бримоду был неспособен постичь доводы гражданского лица и не принимал — из зависти — никаких аргументов лица военного. Пробыл час Вердена. Я участвовал во взятии Дуомона. Мною владело

ликование человека, который не потерял даром год жизни, не загубил свою жизнь. Тогда как моего отца отличала веселость тех, кто не потерял даром свой день: он добился у короля-союзника, чтобы его армию не отвели навсегда в тыл, а от англичан — чтобы они не эвакуировались из Салоник. Итак, мы с ним отправлялись в кино, предав забвению Бримоду, и несчастный генерал, изнемогая под тяжким бременем неограниченной власти, всю ночь тщетно названивал отцу, подсылал к нему людей, которых мы не желали видеть, и срочно спрашивал через билетершу указаний, в каком ключе ему следует беседовать, например, с одним из королевских принцев Сиама, явившимся к нему на прием. Каждый новый Председатель Совета подвергал отца опале, но при первом же официальном обеде, при первом же путешествии ему возвращали прежнее положение, ибо французы — особенно если это министры — любят играть, а мой отец знал все рецепты развлечений, свойственных разным поколениям и расам, все виды того безобидного опиума для народов, что зовутся бильярдом, маджонгом, лото или манилой. Мог ли Председатель Совета отказаться в доверии человеку, который играл с ним в шары не где-нибудь, а в мадридском дворце?! На этих официозных межсезонных суаре, унылых, как провинциальные вечеринки, мой отец умел играть в домино в Лондоне, в шашки — в Спа, в бирюльки — в Каннах. Едва покинув вагон-ресторан, президенты, замороженные этим весельчаком, который, нужно заметить, никогда не позволял им выигрывать у себя, проникались к нему самыми дружескими чувствами, и это приносило им удачу. Ибо одному из них он тотчас под-

сказывал, где находится Висла, вручал свою личную карту Европы для пользования, как передают сменному офицеру карту траншей и тем самым позволял добиться серьезного преимущества над Вильсоном и Ллойдом Джорджем. Для другого он подбирал забытую по недосмотру Сирию и перекладывал ее в корзину Франции. Те же из президентов, кто не любил играть, лишились Мосула, Саарлуиса и Константинополя. Третьему, более любопытному, которого он ежеминутно ошарашивал какой-нибудь неожиданной новостью — сообщая, например, что текст «Марсельезы» частично принадлежит Буало, что мирабель получила свое название от Мирабо, что белые слоны, заметив, как ими восхищаются, выказывают чисто женское кокетство и требуют украшать их ожерельями, — он объяснял поведение противников на Конгрессе характером их жен и семей, их прошлым и честолюбием, после чего, доведя этого южанина до нужной точки кипения, до своего уровня культуры, запускал в ассамблею уже блистательным неприужденным остроумцем. Допускаю, что он не так уж хорошо знал людей, зато великолепно разбирался в великих людях. Ему были ведомы нравы, движущие силы и слабости этой вненациональной расы, неизменно живущей если не над законами, то, по крайней мере, в стороне от них. Он знал даже особенности их анатомии. Знал, как заставить их раздобреть или похудеть, какое питье и какую пищу обещает им взлет их политического гения. Как же я любил те вечера, когда он, решив устроить себе передышку после целого дня манипулирования десятком шестидесятилетних старцев, усаживался напротив, обратив ко мне лицо, чуточку более массивное, чем обычные

лица, но так похожее на мое, и тут-то я рассказывал о развлечениях нашей роты, об игре в пыж и белот, заражая его своей молодостью под видом этих забав, которые могли сослужить ему добрую службу на очередном заседании, позволив выманить у противника шахты Саара или Камерун.

У моего отца было пять братьев — все академики — и две сестры, обе замужем за государственными советниками и бывшими министрами; я гордился своими родичами, когда мы собирались все вместе, по праздничным дням или на каникулах, в беррийском имении моего дяди Жака. Это поместье не было фамильным достоянием, — его продал нам один каретник из Шатору, сам купивший усадьбу у некоего винооторговца из Ла-Шатра. Владели им также и оптовый торговец рубашками, и красильщик — в те времена, когда рубашки и яркие ткани обогащали своих владельцев в Иссудене и Герэ. Имение не носило на себе отпечатка какого-то определенного ремесла или сословия. Дом не блистал оригинальностью: рубашечник украсил его водосточными желобами на китайский лад, красильщик — громотводом, каретник — противогодовой пушкой, а винооторговец, явно менее всех остальных робевший перед разгулом стихий, установил в саду солнечный циферблат, соединенный с механизмом, который отзванивал часы. Под сводами беседок, увитых виноградом, в воздухе угадывались пустоты от позолоченных или посеребренных шаров... Провинция эта не была *нашей* провинцией. В Аржантонский округ нас привела чистая случайность: здесь мой дядя намеревался изучать, вместе с Ролли́на, повадки беррийских гадюк. Тем не менее в этом саду, где череда

банкротств, а отнюдь не наследований, одарила нас тенью и фруктами, где самыми высокими растениями, за которые мы несли ответственность, были зеленый горошек и капуста, где на коре буков никто никогда не видел вырезанных имен предков, в этом крае виноградников и топинамбура, куда нас привел из Парижа змеиный след, мой отец и пятеро дядей сияли от удовольствия и улучшали цвет лица точно так же, как делали бы это в своем родовом поместье, в провинции своих дедов и прадедов. Сладкое ощущение благополучия, эйфория, пронизывающая все их существо, рождались не в созерцании этого бескрайнего пейзажа, террас на склонах дальних холмов, видов на долину и реку Крезу. Такие же чувства возникали и тогда, когда мы проводили каникулы на мельнице, укромно стоявшей над своей запрудой, или в замке времен Людовика XIII, вросшем в землю, словом, при любой случайной миграции, избранной дядей Жаком, директором Музеума, исследователем растений и мигрирующих животных, который с самого начала июня отправлялся в те края, куда его властно манил голос очередной разновидности мха, орла или щуки. Мы располагались в последнем кантоне, обжитом мигрирующей живностью, и наконец-то вкушали заслуженный отдых, согласно последним законам естествознания. Достигнув за двадцать лет, благодаря избранному темпу жизни, того уровня развития, который потребовал от флоры и фауны Франции десяти миллионов лет, все шестеро братьев выработали в себе талант устраиваться с комфортом в любом уголке страны. Кроме того, у нас не было семейного кладбища — если не считать таковым Пантеон. Словом, мой отец и дяди

попросту являлись жителями Франции вообще, а то и земли в целом, и им достаточно было повесить в спальне пару фотографий, чтобы пейзаж в окне начал выглядеть родным и знакомым. По приезде они с первого же вечера вырабатывали новые привычки, в корне отличавшиеся от тех незыблемых, коими руководствовались доселе в жизни: забывали ловлю пескарей ради ловли овсянок, заменяли оливковое масло на столе ореховым, вставали или ложились спать пораньше, в зависимости от того, что больше стоило их внимания в этом новом ландшафте — рассвет или закат, пили местное вино, даже не нуждаясь при этом в компаньонах, обязанных своим усовершенствованием или открытием семейству Дюбардо, а именно в электрических, газовых и ацетиленовых светильниках, которые могли бы послужить более тщеславным французам фамильным гербом или частью фамильной обстановки.

По вечерам они рассаживались — точно так же, как в минувшие годы перед водоемом замка Ментенон или в укромном садике Монмирайля, — на террасе, откуда сверху, на десять лье в округе, виден был Ла Марш, притом каждому члену семьи в равной степени, ибо никто из них не страдал близорукостью или дальновзоркостью. Спускались сумерки — заря сов, заря мудрости. Это был час, когда с земли струятся испарения, еще со времен Авсония дурманящие живописателей природы, когда пейзаж поверяет своим детям-поэтам свою тайну — стойкость или слабость, скрытность или благочестие, когда он раскрывает свою заповедную суть с помощью простейших инструментов или откровений — волынки, цоканья копыт на дороге, мычания. Но ни

ангелус, ни аккордеон, ни уханье беррийского филина, ни все те романские церкви, что еще ловили солнечный жар, когда хижины уже таяли в вечерней мгле, не повергали моих родственников в трепет, в сладкую истому, в умиление перед судьбою древних битуригов. Для них все это было лишь провинциальным лепетом, бормотком «местного разлива», тогда как они владели самым изысканным наречием — языком всей земли. Вот отчего они воспринимали невнятную симфонию окружающих звуков как живописный, но второразрядный диалект, вызывающий беззлобную усмешку, поскольку он украшивал высокие слова слишком уж затейливыми окончаниями. И тщетно окна замка Гаржилес вспыхивали внезапным светом, тщетно форели выпрыгивали из воды на каждой излучине реки Крезы — эта лимузенская пунктуация оставляла их равнодушными. Рассевшись, сами того не сознавая, в том же порядке, в каком они появились на свет, составив кресла полукругом, позволявшим сблизить младшего со старшим, химика с финансистом, отрицательный полюс с положительным, улыбаясь неведомому Создателю натянутой улыбкой, которой можно улыбаться разве что в телефон, мои пятеро дядей и отец ожидали прихода ночи — эдакие бургграфы в своем замке из ультрафиолетовых лучей, еще неизвестных простым смертным.

Наконец зажигались звезды. Игнорируя некоторые участки небосвода, так подробно описанные и облюбованные, что и они тоже казались провинциальной достопримечательностью, дядя Гюстав, астроном, показывал нам предмет своих изысканий — маленькую темную прогалину, заключенную